



**ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ.  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**



**Историко-философский экскурс**



Настоящий номер «Философских наук»,  
как и № 9 журнала за 2014 год,  
посвящен французской философии.

Редакционная коллегия предполагает продолжить ее  
освещение – ежегодно публиковать работы отечественных  
и зарубежных исследователей,  
посвященные проблемам истории и современного развития  
философской мысли Франции.

*И.С. Вдовина,  
руководитель проекта*

**НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ**

*Редколлегия и редакция журнала «Философские науки»  
сердечно поздравляют  
Наталию Сергеевну Автономову с юбилеем!  
Желаем дальнейших творческих успехов,  
благополучия, здоровья!*

**ФРАНЦУЗСКИЕ «ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ»<sup>1</sup>  
В СОВЕТСКОМ И РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ  
(опыт читателя и переводчика)**

*Н.С. АВТОНОМОВА*

Журнал «Философские науки» выступил с замечательной инициативой – публикации тематических «французских» номеров. Я благодарна за приглашение участвовать в таком номере с мыслями и воспоминаниями по поводу российско-французского философского сотрудничества и моего личного пути во французскую философию. Для меня это бездонная тема, одновременно научная и человеческая. Первым этапом моей работы с французской темой

была аспирантура в Институте философии, потом диссертация, потом работа в библиотеке, выход многих публикаций. Лишь с 1986 г. отношения с Францией стали для меня не только «библиотечными», но и «реальными», «выездными», причем это были не только краткие поездки на конференции, но и относительно долгие периоды жизни, занятой исследованиями, преподаванием, воспитанием дочери, которая проходила во Франции разные стадии обучения и социализации, так что к ней, замечу, вполне относились разработанные еще Виктором Кузеном педагогические принципы, включавшие обучение философии старших школьников: по-моему, это очень полезная практика, нацеленная на то, чтобы научить молодых людей мыслить в понятиях, аргументировать, защищать и опровергать те или иные позиции, жаль, что в российской средней школе этому специально не учили и не учат. Все это важно, потому что раннее обучение философии налагает отпечаток на французскую интеллектуальную жизнь в целом, делает довольно широкую аудиторию рецептивной к интеллектуальным баталиям, которые для французского духовного климата весьма характерны. Самой же мне довелось быть не только «родителем учащегося», но и преподавателем — на всех уровнях университета, от первого курса «общего образования» (сейчас его отменили) до аспирантуры и защиты диссертаций.

Другим важным сюжетом были бы конечно французские институты — а некоторые из них предельно специфичны, несмотря на все нынешние программы европейской унификации. В частности, я имела самое прямое отношение к работе такой совершенно особенной философской институции, как Международный философский колледж (*Collège international de philosophie*), основанный в 1983 г. Ж. Деррида, Ф. Шатле, Д. Лекурром, Ж.-П. Фаем с целью открыть философию вовне — к наукам, искусству, политике, к обществу — в том числе и непрофессиональному; я была избранным руководителем программы в течение шести лет (как положено по уставу), вела семинары. С самого первого приезда во Францию в 1986 г. я была тесно связана с Фондом «Дом наук о человеке» (*Fondation Maison des sciences de l'homme*), главной французской неправительственной организацией посредничества между исследователями, где, в частности, в течение последних 15 лет мне довелось быть экспертом в ряде международных научных комиссий. Кстати, отмечу, что именно Дом наук о человеке был первой французской институцией, заключившей договор о сотрудничестве с АН СССР — в те времена, когда французские интеллектуалы в целом вовсе не жаждали сотрудничать с советскими коллегами. Этот протокол был подписан 14 июня 1984 г. двумя столь разными (и по-разному весомыми в организации науки) персонажами, как Фернан Бродель, который в тот момент был «администратором» Дома наук о человеке, и П.Н. Федосеевым, вице-президентом Академии наук СССР; с тех пор этот договор продлевался пять раз.

Но здесь моя задача – рассказать о том, что привело меня во французскую гуманитарную науку и философию, каковы были мотивы и импульсы этого совсем не запрограммированного для моей научной биографии поворота интересов. Моей университетской специальностью был английская филология, хотя под руководством моей (вне) университетской наставницы, знатока французской и немецкой культуры Ирины Александровны Доброхотовой, мне доводилось писать, скажем, разборы «Антигоны» Жана Ануя или стихов Жака Превьера. После университета я готовилась использовать французский язык в обширном сопоставительном изучении лингвостилистики европейского сонета (английского у Шекспира, французского у Ронсара, итальянского у Петрарки – такая у меня была программа-максимум!), опираясь на уже сделанный мною для диплома – под руководством М.Л. Гаспарова – анализ шекспировских сонетов. Но в итоге все сложилось иначе. Филология и англистика остались в стороне, а философия и французский вышли на первый план<sup>2</sup>.

Произошло это потому, что в аспирантуре Института философии я просто влюбилась в тематику и проблематику так называемого французского структурализма. Она была как нельзя более созвучна моим интересам того времени, связанным с судьбой гуманитарных наук и их «предмета». Должны ли мы, чтобы понять человека, ставить его в центр, исходить из субъективных очевидностей его опыта, его сознания или же мы должны начинать с того, что определяет человека, чтобы в итоге прийти к тому, каков человек, каков исторический, близкий нам образ человека и каковы возможности его формирования? Первый путь – экзистенциалистский, второй – структуралистский. Структурализм – это не философия, но в нем есть исключительно важный слой философской проблематики, и когда-то это требовалось доказывать, потому что самой этой области исследований «философские проблемы гуманитарных наук» (по аналогии с «философскими вопросами естествознания») в те времена, когда я писала диссертацию, не существовало. Это предполагало новый взгляд, работу с новыми терминами и понятиями. Меня захватил этот структуралистский драйв, направленный на соединение научно-гуманитарных задач с философскими в ряде новых дисциплин – антропологии, истории науки, исследованиях моды и литературы, психоанализа (у Леви-Строса, Фуко, Барта, Лакана и др.) и одновременно новое самоощущение философии, которая, сталкиваясь с этим интеллектуальным напором конкретной гуманитаристики, начинает понимать, что без теснейшего взаимодействия со специально-научным материалом она останется в стороне от понимания мира и человека. Так как терминологическим стержнем этих интеллектуальных движений были проблемы языка как фундамента культуры и его изучения, в целом структуралистская проблематика выступала как одна из ярких и

продуктивных форм того, что позже стали широко называть «лингвистическим поворотом» в философском анализе сознания, познания, коммуникации.

### **К структурализму – через марксиста Альтюссера**

Случилось так, что мой путь к этой проблематике шел через Луи Альтюссера (1918 – 1990). Все его работы в то время выдавались в третьем зале Ленинской библиотеки, в отличие, скажем, от «Критики диалектического разума» Сартра, ради которой нужно было брать допуск в спецхран. В то время Альтюссер был «кайманом-репетитором» в Высшей нормальной школе в Париже (или иначе педагогом, ответственным за подготовку воспитанников к экзаменам агрегации) и на этом посту оказал большое влияние на Фуко, Деррида и многих других крупных персонажей французской интеллектуальной элиты. Он дал приют Лакану с его семинаром, когда тот был изгнан из университета Венсен, и сделал еще много хорошего и интересного. В 1960-е гг. концепция Альтюссера, поставившая акцент на работы зрелого Маркса-«структуралиста», в противоположность молодому Марксу-«гуманисту» Гароди или Грамши, была логично связана с другими тенденциями французской мысли – например, с исторической эпистемологией Башляра, Кангилама, Доминика Лекура. В то время мне очень нравилось альтюссеровское понятие «структуры с доминантой», импонировал именно такой «антиидеологический», эпистемологический акцент, который, пусть в провокативной форме «теоретического антигуманизма», подчеркивал концептуальную новизну зрелого Маркса периода «Капитала». Все это нашло отображение в книге Альтюссера «За Маркса» и в коллективной монографии «Читать “Капитал”» (написанной им совместно с Э. Балибаром, Ж. Рансьером и П. Машре). В моей первой диссертации (она была обсуждена в ноябре 1972 и защищена в феврале 1973 в Институте философии), наряду с главами о Фуко, Леви-Стросе, Лакане, Барте, Деррида, была и отдельная глава об Альтюссере: как же без него? Однако в процессе подготовки книги к публикации (это отдельная история, потому что книгу все время выбрасывали из планов издания) главу об Альтюссере изъяли<sup>3</sup>. Это было сделано по требованию одного из рецензентов, Милия Николаевича Грецкого, человека умного и довольно сдержанного: во всяком случае, он никогда не допускал грубой критики в адрес западных философов-марксистов, о которых писал. Так вот, он был категорически против включения Альтюссера в книгу – в связи с определенным партийно-идеологическим этикетом: если у советского исследователя речь шла о философии, требовалось сначала дать слово членам ЦК соответствующих компартий (в моем случае это был Ги Бесс), и в любом случае нельзя было ставить на одну доску крупного деятеля французской марксистской мысли с концеп-

циями ученых-предметников, хотя бы и выдающихся. В итоге мне удалось опубликовать этот диссертационный раздел об Альтюссере, расширив его современным материалом, лишь во второй половине 1980-х гг. — в сборнике «Современные зарубежные концепции диалектики» (М., 1987).

В те времена, о которых здесь идет речь, западная философия в Советской России отнюдь не была магистральной линией философской специализации. Все мои герои — Фуко, Лакан, Деррида — практически не существовали для читающей публики (интерес к Леви-Стросу сложился несколько раньше). Никто естественно не мог рекомендовать мне такую тему для диссертации, и никто не мог потом оценивать мою работу с позиций более глубокого знания проблематики, потому что таких людей не было. Это был мой личный выбор, проблемное поле, на которое я вышла сама (о Фуко мне говорила коллега по аспирантуре Татьяна Клименкова). Дополнительная идеологическая сложность заключалась в том, что применительно к «буржуазной мысли» считалось неприемлемым выходить за пределы критического изложения и давать конструктивную разработку проблем, поставленных изучаемыми авторами. Для того чтобы к этому пробиться, требовалось перестроить существующие концептуальные регистры и создать свой собственный, хотя бы с минимальной опорой на марксистские понятия. Для меня опорным стало Марксово понятие «превращенных» мыслительных форм, которое разрабатывал Мамардашвили: оно парадоксальным образом помогало легализации изучаемой проблематики — в позитивном ключе.

Таким образом, проблематика французского структурализма была для меня в то время — в аспирантуре и в период складывания моих основных интересов — личностным обретением. Она появилась на моем пути удивительно вовремя и дала мне ощущение счастья — обретения материала, на котором можно работать, проясняя собственные интересы, выражая и формируя те новые теоретические амбиции, которые во мне вызревали. Сейчас само это направление интереса к объективности в гуманитарных науках и ее философским опорам не модно и может показаться архаичным, «деперсонализированным». Но для меня оно было до мозга костей личным, экзистенциальным. Помню, что не только проблемные, но и просто энциклопедические или обзорные статьи по этому новому французскому материалу я писала на пределе возможного, чтобы открыть его другим, тем, кто им не владеет; и недавно, посмотрев некоторые мои старые статьи из справочников на темы «структурализм», «постструктурализм» и др., я с удовлетворением вновь почувствовала это равнодушие, этот внутренний накал. Акценты в концепциях моих героев с тех пор менялись, постепенно складывалось то, что стало потом именоваться постструктурализмом, который отрицал структуралистские мысли-

тельные опоры (вместо статики – динамика, вместо порядка – разные формы хаоса, вместо языка – довербальные и невербальные способы взаимодействия и т.д.). Хотя негативистский пафос постструктурализма мне в целом не близок, не могу не признать, что эта линия переосмыслений отчасти подтолкнула меня к более объемному и тонкому представлению о структуре, к идее «открытой структуры».

Здесь важна еще одна особенность французского структурализма, сопрягавшего философию и науки, которая резко отличала его от существования сходных научных и научно-философских проблематик в других культурно-исторических контекстах. Прямо противоположной была ситуация споров вокруг московско-тартуской школы, герои которой, напротив, делали все возможное, чтобы их тезисы не имели философского резонанса: это было бы опасно для общего дела, для укреплявшейся в России семиотики и структурализма. Да и сами они в философские размышления, как правило, не углублялись. Во Франции, напротив, удивительна была атмосфера интеллектуальных споров в широких аудиториях: возможно, этому способствовала та самая всеобщая философская грамотность, о которой говорилось выше. У тех и у других – ученых и философов, структуралистов и экзистенциалистов, феноменологов, персоналистов – были хотя бы элементы общего языка, которые позволяли им более или менее адекватно улавливать смысл взаимных упреков. Только представьте себе: для широкой аудитории было в той или иной мере понятно, например, определение Рикёром концепции Леви-Строса как «кантианства без трансцендентального субъекта»! Или другие полемические ярлыки, которыми обменивались противоборствующие стороны. Однако широта охвата публики – а эти споры транслировали все крупные интеллектуальные журналы Франции – не избавляла от поспешных идеологизаций, а в известной мере и способствовала склейкам персонажей с лозунгами, что вело к вырождению полемик, их приитивизации. И, честно говоря, приводило к упрощенному и даже карикатурному образу структуры и структурности.

### **Мишель Фуко: «Слова и вещи» и далее**

Мой любимый философский герой периода аспирантуры и ближайшего затем десятилетия – Мишель Фуко (1926 – 1984); я встретила с его трудами уже после Альтюссера. Его самая знаменитая тогда во Франции книга «Слова и вещи» (она была в Ленинской библиотеке и выдавалась без всяких ограничений) была нелегким, но совершенно захватывающим чтением. Для меня как человека, не понаслышке знакомого с догматическим марксизмом, оригинальность Фуко была связана прежде всего с тем, что он давал цельную картину «археологических» (это было переосмысление исторического, введение его в «несубъектную» плоскость) возможностей познания, не обращаясь

к базису, но находя опору в знаковых отношениях внутри той или иной «эпистемы» или особой конфигурации условий возможности познания. Антиидеологический пафос Фуко в контексте борьбы с идеологизациями гуманитарного знания, процветавшими в Советской России, представлялся мне в высшей степени конструктивным. И еще эта книга поражала меня богатством материала, который Фуко удалось в ней связно (хотя и не всегда обоснованно) представить. Она ввела меня в современную французскую философию в ее особом преломлении — в философию науки, в такую философию, для которой не безразлична и даже принципиально важна научная эмпирия, и в такую эмпирию, которая не теряет из вида философской значимости тех или иных своих тезисов, а в целом пронизана философской актуальностью момента. Меня восхищали его парадоксальные высказывания, опровергающие установленные порядки в отношении таких авторитетов, как Кювье и Жюлье, Рикардо и Маркс. Только представьте себе утверждение о том, что в XIX в. Маркс был как рыба в воде, а в XX — уже не дышит (*il cesse de respirer*). Замечу сразу, что все это вошло без каких-либо изъятий в изданный в 1977 г. перевод «Слов и вещей», чему до сих пор не верят мои зарубежные коллеги. Когда мне в первый раз удалось выехать во Францию — для участия в первом франко-русском философском семинаре (1986), Фуко уже два года как не было в живых, но у меня хранятся его письма и посланные мне по его инициативе издательством «Галлимар» книги, включая также изданный много позже четырехтомник (*Dits et Écrits par Michel Foucault. 1954 — 1988. T. I — IV. — Paris, 1994*), подаренный мне главой отдела авторских прав «Галлимара» Аней Шевалье.

История перевода и публикации книги Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», наверное, остается одной из самых удивительных историй публикации французских книг<sup>4</sup>. Согласно договору, заключенному 20 ноября 1974 г. с издательством «Прогресс», перевод должен был быть подготовлен до 1 апреля 1975. В книге 25 печатных листов. Словом, была спешка, и потому мне пришлось отказать от предложенного мне перевода этой книги целиком и попросить найти переводчика на первую часть (вторую, посвященную современной философии и гуманитарным наукам, я бы никому не отдала!) Вторым переводчиком (т.е. переводчиком первой части) стал Виктор Павлович Визгин, за которого (как за человека образованного и ответственного) ходатайствовал, например, Генрих Степанович Батищев. Вступительную статью я написала тогда очень быстро, практически за неделю, она была принята без единого замечания, а потом о ней мне нередко говорили добрые слова (например, А.С. Богомоллов, мнение которого я высоко ценила). С момента издания этой книги с грифом «для специальных библиотек» прошло уже больше сорока лет. Этот перевод широко читался, причем не только в СССР,

но и в странах, которые назывались тогда социалистическими (в них все интеллектуалы тогда читали по-русски). Например, у болгарских коллег это было просто настольное чтение. Если до этого имя Фуко ничего не значило для российского читателя, то публикация этой книги сделала его популярным, и к тому же она опередила свою эпоху на 15 – 20 лет: бум переводов современной западной философии на русский язык начался лишь с приходом постсоветской эпохи, в начале 1990-х гг.

Все это теперь для нас довольно далекая история. Недавно студентка петербургского французского университетского колледжа Елена Смирнова, которая писала дипломную работу, посвященную переводам французской философии на русский язык в 1960 – 1980 гг. (сейчас она пишет диссертацию в университете Париж-7), попросила меня ответить на ряд вопросов в связи с публикацией «Слов и вещей». Я ответила на ее вопросы и призналась, что и сейчас считаю саму эту публикацию чудом, так что надеяться на повторение чего-то подобного никто тогда не мог (когда сразу после выхода «Слов и вещей» я предложила к переводу «Археологию знания», мой высокопоставленный собеседник был обескуражен: как можно быть такой ненасытной, надо радоваться тому, что удалось сделать, такой шанс вновь возникнет не скоро).

Меня нередко спрашивают, особенно молодые исследователи: почему именно «Слова и вещи»? По-моему, никакого выбора и не было. Именно вокруг «Слов и вещей» бурлили тогда философские дискуссии (с ними можно было отчасти познакомиться по французским журналам, выдававшимся в Ленинской библиотеке; сейчас и помыслить такое невозможно, потому что западные книги и журналы у нас уже больше не покупаются). Но дело не в шуме и не в моде. Споры вокруг «Слов и вещей» отзвуками слышались и в Советской России. Что важнее – молодой романтичный Маркс или зрелый Маркс – ученый, исследователь структур современного ему общества? С Фуко связывали лозунг «смерти человека», вызванной грозным наступлением структур, но у него такой концепции не было, а была мысль, выраженная в сослагательном наклонении в самом конце «Слов и вещей»; в своей непатетической формулировке она сводится к тому, что современные представления о гуманизме не вечны, что образы человека и модели знания о человеке неизбежно меняются в истории вместе с изменением «эпистем» или общих условий познания.

Я и дальше следила за динамикой исследовательского пути Фуко, писала о нем не только проблемные статьи, но и большие обзоры – о работах середины 1970-х гг. – «Надзор и наказание» и «Воля к знанию» (От «археологии знания» к «генеалогии власти» // Вопросы философии. 1978. № 2), а также о позднем Фуко и его концепции человека (Проблема человека у позднего М. Фуко // Современный человек:



цели, ценности, идеалы. — М.: ИНИОН, 1988). Фуко все больше поражал меня своим свойством интеллектуального барометра. Он удивительным образом улавливал смену общественных настроений: от системы — к дисциплинарным механизмам, от «власти-знания» — к новым шансам самоформирования субъекта. В творчестве Фуко меня поражало единство неизменного эпистемологического интереса с тем, в каких формах — этических, политических — он мог воплощаться, а также его готовность к пересмотру своих идей и высказываний. Примеры этого нахожу и в переписке. Например, в письме ко мне (от 24.11.1979; мой личный архив) Фуко говорил, что, по сути, противостояние экзистенциализму было важно для него лишь тогда, когда он вырабатывал собственный метод, а после этого все выглядело уже иначе, можно сказать (Фуко прямо этого не говорит), что такой необходимости в противостоянии уже не было. Он писал также, играя понятием «Май 1968» с заглавной буквы, что его взгляд на события Мая 1968 г. начали меняться «уже в Июне 1968» и с тех пор продолжали эволюционировать. А в самих этих событиях он видел, насколько я могу судить, реальную лабораторию формирования новых представлений о политическом, которые складывались в процессе взаимодействия разных социальных групп, и прежде всего интеллектуалов, студентов.

Когда я смогла впервые выехать во Францию, Фуко, как говорилось, уже не было в живых. Я встречалась тогда с Франсуа Эвальдом, его ассистентом в Коллеж де Франс, а позднее, когда приезжала в Париже на более долгие сроки, и с лучшим его биографом Дидье Эрибоном, который в то время был журналистом в «Нувель Обсерватёр» (и автором трех прекрасных книг интервью — с Жоржем Дюмезилем, Клодом Леви-Стросом и Мишелем Фуко), с другом жизни Фуко и его коллегой Даниелем Дефером (он приводил меня в их квартиру, и я запечатлела Даниеля на фоне известной библиотеки Фуко), а потом и с молодым поколением людей, работавших над проблематикой Фуко и объединившихся вокруг вновь созданного Центра Фуко. Я застала ранний период существования этого Центра, бывала на заседаниях и конференциях, например, в клинике Тарнье на улице д'Ассас, работала с рукописями Фуко в библиотеке аббатства Сольшуар, в доме 43 бис по улице Гласьер, где они тогда хранились.

Интерес к Фуко в мире и отчасти в России претерпевал взлеты и падения, всплески интереса были связаны с публикацией в 4 томах его «малых работ» *Dits et Écrits* (1994), показавших тот фон дискуссий, интеллектуальных реакций, на котором формировались замыслы его главных работ, а затем — и вот уже долгое время — с недавно закончившейся публикацией его семинаров в Коллеж де Франс, которые сейчас постепенно переводятся во всем мире, давая новые импульсы прочтению Фуко. Но и давние, классические работы не исчерпали

своего энергетического потенциала: меня поразило, в частности, что те же «Слова и вещи», согласно Российскому индексу цитирования, являются одной из самых широко цитируемых работ западной философии второй половины XX в. и количество цитирований растет скачущими темпами. Во Франции в 2009 г. был составлен и опубликован по архивным материалам том полемики вокруг «Слов и вещей» 1966 – 1968 гг., а это значит, что история этой книги – не слежавшийся слой прошлого, но, возможно, источник новых энергий. Для меня это не просто казус, но одно из свидетельств того, что «структуралистская» проблематика не отыграла свою мелодию, что она сохраняет в себе потенциальный заряд актуальных смыслов.

### **Жак Лакан: бессознательное и язык**

Другой фигурой среди французских «властителей-мыслителей», вдохновлявшей меня с самых аспирантских времен, был Жак Лакан (1901 – 1981)<sup>5</sup>. Больше всего меня привлекало то, что в своих рассуждениях о структуре и функционировании психики, о сознании и бессознательном он выводил на первый план речь и язык, их основополагающую роль в культуре. Откровением для меня была лакановская гипотеза о тесной соотнесенности языка и бессознательного. Она, как известно, распадается на две известные формулы: «Бессознательное структурировано как язык» и «Бессознательное – это речь Другого». С тех пор, как эти формулы широко прозвучали в знаменитом томе его работ *Écrits* (1966), вышедшем на пике общественной популярности структуралистских идей, они породили огромную литературу и множество различных интерпретаций. Тогда же это было поистине новое слово: оно открывало широкое поле исследований, охватывало эвристичной аналогией множество разрозненных явлений, которые в результате обнаруживали свою связность, соотнесенность. В частности, для меня с самого начала была важна также развернутая Лаканом идея асимметричности языкового знака, идея скольжения означающего и означаемого относительно друг друга, первоначально высказанная С. Карцевским: она позволяет, хотя бы отчасти, концептуализировать процессы, переходы, неустойчивые состояния, которые всегда присутствуют при связывании «вещей» с языковыми формами, со «свободными означающими». Собственно обе эти его идеи – бессознательного, структурированного как язык, и бессознательного как речи Другого (или, иначе говоря, культуры, в которой рождается и к которой приобщается каждый из нас) – подталкивали к новым поискам взаимодействий между гуманитарным знанием о душе, о психике, и философией, открытой актуальным проблемам сознания и языка.

Что касается перевода, то Лакана я переводила только фрагментами и для себя. Мне неоднократно предлагали взяться за его перевод,

но я вынуждена была отказаться, понимая, что не готова посвятить жизнь крайне трудоемкой и подчас безнадежной (если иметь в виду достижение однозначного смысла) интерпретации Лакана. Путем проб и ошибок был найден очень хороший переводчик Лакана на русский язык — Александр Черноглазов, правда, и он пока переводит в основном тома семинаров, что же касается тома *Écrits* (1966) в целом, то этот *opus magnum* пока еще ждет своих шансов перевоплощения в стихию русского языка.

С Лаканом связаны многие важные события моей международной жизни. Прежде всего, он был главным героем моего пленарного доклада на знаменитом Тбилисском конгрессе по бессознательному в 1979 г. (доклад был посвящен смене концептуализаций сознания и бессознательного в философии). Мое выступление, кажется, было запрограммировано на успех: меня заметили западные и особенно французские участники, среди которых было много лаканистов разных оттенков: видимо, им показалось необычным, что в далеком и экзотическом месте кто-то берется рассуждать об их сложном и неоднозначном интеллектуальном герое. При этом некоторые французские комментаторы (например, Ж. Нобекур) восприняли меня как «свою» и приписывали моему докладу призыв к «освобождающей» речи, в то время как московское идеологическое начальство, которому бы это совсем не понравилось, не было в состоянии следить за потоком откликов, так как не читало западную, главным образом французскую, прессу, посвященную конгрессу. В Тбилиси меня пригласил известный советский нейрофизиолог Филипп Вениаминович Бассин, и я с удовольствием поехала — в отличие от ряда известных мне московских психологов, которые предпочли не засвечиваться на мероприятии, исход которого был совершенно не предсказуем — однако симпозиум прошел в целом успешно и оставил неизгладимые впечатления (разумеется, весьма различные) у советских и зарубежных его участников.

Доклад в Тбилиси стал трамплином для других моих зарубежных выступлений — в частности, в 1990-е гг., в Страсбурге, потом в Дублине — на конференции «Бессознательное и языки», организованной Шарлем Мельманом. Самым знаменитым среди этих выступлений, через 10 лет после Тбилиси, был доклад в Париже на международном симпозиуме «Лакан и философы» (точнее «Лакан вместе с философами», *Lacan avec les philosophes*), в мае 1990 г. Предложение об участии в этом симпозиуме сделал мне в 1989 г. Рене Мажор, известный французский психоаналитик канадского происхождения: он некогда был в Тбилиси и ссылался в своем письме на мой тбилисский доклад, который ему запомнился, а в конце 1980-х был одним из организаторов лакановского конгресса, который подготавливался силами уже упоминавшегося Международного философского коллежа в Париже.

Только такое незаурядное учреждение могло взяться за реализацию беспрецедентного замысла — показать героя французского психоанализа в контексте всемирной философии. Яркая фигура — маг и клоун, тончайший диагност с удивительной харизмой — Лакан был в то же время и подлинным философом, обогатившим мысль о сознании и бессознательном новыми возможностями. Поначалу мне было предложено сделать доклад о Лакане и Марксе, но когда я предложила другую тему — «Лакан и Кант: идея символизма» — она была с радостью встречена оргкомитетом, а тема «Лакан и Маркс», видимо, осталась ждать яркого пера Славоя Жижека. Идея символизма показалась мне удачным мостом между философской классикой и ее лакановским пересмотром.

Кант, как известно, использует символы там, где невозможно знать предмет непосредственно, где, выражаясь философским языком, невозможно объективировать некоторое содержание и приходится лишь намекать на него. Кант не побоялся — причем впервые — рассмотреть такую ситуацию как принципиально присущую познанию, а не как результат его недостаточности или неполноты. В частности, размышляя о построении предмета психологии, Кант указывал на некую, как ему казалось, непреодолимую трудность. Для того чтобы построить предметы наших внешних чувств, они должны быть нам даны в пространстве и времени; а предметы внутреннего чувства даются нам только во времени. Предметы внутреннего чувства не даны нам в пространстве, а потому они не могут стать полноценным предметом теоретического познания<sup>6</sup>. Как раз эту нехватку — недостаток пространственного воплощения «предметов внутреннего чувства» компенсирует познавательное развитие послекантовской мысли, можно сказать, от Гегеля до Кассирера и Леви-Строса.

Структуралистская мысль, отмечает Лакан, вводит в гуманитарные науки такой тип объекта (точнее, тип субъекта, который становится объектом), который может быть обозначен только топологически<sup>7</sup>, т.е. в пространственных категориях и понятиях. Структурализм, а за ним французская философия последних десятилетий одержимы этой идеей «плоского пространства», лишенного глубины и изнанки. Объект познания «души» строится не в глубинах сознания, а на «другой сцене», точнее — «в поле речи и языка», как свидетельствует знаменитая лакановская речь 1953 г. («Функция и поле речи и языка в психоанализе»). Именно язык становится у Лакана главным представителем символического порядка, а символ выступает как «общее место» языка, бессознательного и структуры. Таким образом, лакановская структуралистская трактовка бессознательного вводит то условие, которого как раз и недоставало, по Канту, для того чтобы человек, душа, сознание могли стать предметами

научного размышления — а именно, пространственное созерцание, пространственную расположенность. Разумеется, эти рассуждения не исчерпывают самую идею символа, в котором слиты математико-алгебраическое (аналитическое) и мистическое, «таинственное», как об этом свидетельствуют труды таких отечественных мыслителей, как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, К.А. Свасьян, однако они дают идее символа яркое современное применение.

Обсуждение моего доклада (таков был формат конгресса) длилось полдня: сначала мой часовой доклад, потом четыре содоклада по 20 минут (содокладчиками были Этьен Балибар, Бертран Ожильви, Жакоб Рагозенски, Клод Конте), потом мои ответы на вопросы. Председателем заседания был Ж.-Ф. Лиотар. Заранее написанных текстов содокладчиков у меня не было, так что нужно было слушать внимательно выступавших и импровизировать ответы (доклад я читала по-французски, его перевел прекрасный российский специалист по Гераклиту С. Муравьев, а на вопросы отвечала по-английски, так мне было легче). И до сих пор у меня перед глазами афиша: в правом поле — туманное лицо Лакана и какие-то неясные человеческие фигуры, а в левом в столбик по алфавиту — имена всех участников, как докладчиков, так и содокладчиков, очень впечатляющий: Джорджо Агамбен, Ален Бадью, Этьен Балибар, Сэмюэл Вебер, Мишель Деги, Жак Деррида, Кристиан Жамбе, Филипп Лаку-Лабарт, Доминик Лекур, Жан-Франсуа Лиотар, Пьер Машре, Жан-Клод Мильнер, Жан-Люк Нанси, Элизабет Рудинеско и др. Все они, таким образом, публично апробировали свои построения на оселке мыслей Жака Лакана — самой крупной фигуры французского психоанализа, которая давно и намного вышла за рамки этой дисциплины и стала значимой для философии и гуманитарных наук. Для меня это участие в дискуссии было одновременно и опытом прорыва в новые социальные контексты, и опытом непонимания — здесь все было в одном флаконе. В числе агрессивно «непонимающих» был прежде всего Этьен Балибар, который однако потом сожалел о своей горячности, а выявлять здесь и сейчас его мотивы вряд ли стоит. Об этом стоило бы рассказать подробнее при случае. Труды симпозиума вскоре вышли отдельной книгой, и на нее было много ссылок: это событие вызвало большой интерес, причем не только во Франции<sup>8</sup>. В России же это событие осталось никому не известным, а у меня не было никаких резонов его пропагандировать. Вскоре в Россию стали широко приезжать представители французского лаканизма и прежде всего «Школы Дела Фрейда»: они предлагали российской аудитории свои подходы и одновременно — архаичную, почти комсомольскую групповую дисциплину. Некоторые русские исследователи, искавшие выходы на международную арену, заключали с ними союзы, но потом, как правило, уходили в более спокойные, широко признанные

психоаналитические организации. В последние десятилетия в России (особенно в Санкт-Петербурге) появились яркие и интересные исследователи, такие как В. Мазин, А. Юран и др., работающие с теорией и практикой лакановской концепции — как в психоанализе, так и в философии.

### **Жак Деррида: язык философии**

Наконец, скажу несколько слов еще об одном «властителе-мыслителе», который ни в какой период моей жизни не был для меня самым «любимым», но в известном смысле был самым близким, потому что и в плане философской аналитики, и в плане перевода он дал мне больше, чем кто-либо другой, а потому и потребовал от меня наибольшей отдачи и мобилизации. Это Жак Деррида (1930 — 2004). Работая с его материалом, я в конце концов в чем-то изменила собственные исследовательские приемы. Ранние мои работы о Деррида — например, введение в мой перевод «О Грамматологии» — это образец сурового стиля, не дающего читателю ни малейшего намека на то, что автор статьи знаком и даже дружен с автором книги. Это был эксперимент сугубо безличного описания сложнейшего материала. А в последней большой работе — книге о философском языке Деррида — я шла иным путем, почувствовав, что не могу писать книгу, пока не пойму для себя то, что мотивировало само его движение к деконструкции. Мое решение этой загадки было такое: стимулом развертывания концепции Деррида было его отношение к родному языку («у меня лишь один язык, и тот не мой»): он не владел ни арабским, ни еврейским, а французский был для него языком взрослых, так или иначе отчужденным, «заморским» (географически он так и воспринимался молодым алжирцем); а потому его цель была в том, чтобы расчленив не родной, но культурно усвоенный французский и прорваться к новым, в нем самом еще не открытым, пластам и возможностям. На это и направлена вся динамика де-кон-струкции. Соответственно фокусом моего изучения и моей переводческой работы с текстами Деррида стала вербальная аналитика, рассмотрение дискурсного слоя письма Деррида как бы под микроскопом, описание тех организованностей мысли в языке, которые удается уловить лишь на этом молекулярном уровне. Все это представляется актуальным на фоне всеобщей нынешней зачарованности политико-философскими аспектами концепции Деррида, при которой аналитическая фактура его мысли остается в стороне.

Отношение Деррида к языку совершенно особенное. Оно не похоже ни на одну существующую концепцию философии языка. В отличие от феноменолого-герменевтических построений язык не рассматривается Деррида как глубинное интуитивно постигаемое основание бытия-в-мире. В отличие от концепций современной аналитической философии концепция Деррида ни в коей мере не

предполагает очищения обиденного языка от логических несовершенств и непоследовательностей и приведение его к чистой форме, способной выражать философские идеи. Языковая воплощенность мысли не есть для него атрибут или свойство, которое является трамплином для освобождения от языка и воспарения к чистым идеям. Напротив, язык, пронизывающий всякую философскую формулировку мысли и определяющий ее направленность и специфику, неустраим. И соответственно любая философская мысль, а она, по Деррида, формируется в языке и продолжает существовать в языке, сохраняет в себе следы изначальной языковой апорийности. Язык не есть механизм логического толка. Он несет в себе семантические сдвиги, неустойчивость значений, этимологические нагрузки, пеструю идиоматику.

Языковая воплощенность мысли выступает как одна из форм релятивизации ее универсалистских притязаний. То, что философия существует не только на уровне идей, но и на уровне письма, нам давно уже понятно; это в особенности свойственно тем философам, которые склонны к игре с означающими, когда слова нередко выступают не как опоры понятий, но скорее как препятствия, с которыми они сталкиваются, как западни, в которые они попадают. Так, философия Деррида предполагает постулат о первичности означающей стихии по отношению ко всякому смыслу. Вследствие этого изучение Деррида и перевод текстов Деррида требует анализа слов и терминов, которые он использует, анализирует, создает. Тем самым, не будучи философом языка в привычном смысле этого слова, он может быть назван философом языка в более общем понимании. Все, что он говорит о философии, как классической, так и современной, он выносит из анализа языковой фактуры мысли, из специфики построения дискурсных образований, находящихся в различных отношениях с понятиями и понятийными структурами. При этом фундаментальную роль играют механизмы перевода в узком и широком смысле слова: без перевода, без обнаружения собственной несамостоятельности, неравенства самой себе, невозможна и философская мысль.

Конечно, французская мысль не монолит, помимо «властителей-мыслителей» в ней много разного, к чему нужно приглядываться внимательно — будь то новые современные соотношения аналитической и феноменологической философии, появление и споры разных форм реализма и другие тенденции. Однако среди всех этих новшеств вопрос о структурах — это не предпрошедшее время. И дело не только в свидетельствах таких авторитетов, как Деррида, который в конце жизни признавал, что 1960-е гг. — пора «независимых мыслителей», на смену которым пришли потом теле-медиаатические интеллектуалы, но вместе с тем, как мы знаем, это и пора апофеоза

структурализма, – промелькнули слишком быстро, что многое в них нам нужно теперь пересмотреть и переосмыслить, перечитать ту страницу, которая, казалось бы, уже перевернута. В книге «Открытая структура» (она уже успела выйти двумя изданиями) я возвращаюсь к идее структуры, но в ином, более широком и динамичном смысле. Речь в ней идет, прежде всего, о мыслителях российских, но многое относится и к французским «учителям мысли», раскрывая их внутренний потенциал.

Помимо движения к «открытой структуре», ценной находкой последнего времени я считаю для себя проблему «познание и перевод». Это сочетание слов и понятий может показаться странным – тому, кто привык заниматься переводом, не углубляясь в то, что это одновременно и познание, и тому, кто привык заниматься познанием, не считая, что перевод играет в нем (особенно в гуманитарном познании, но не только) очень важную и подчас определяющую роль. Однако эта проблема вытекает из несубстанциональности, из внутренней динамики культур, языков, традиций, она лежит в основе самого существования культурного мира и его познания.

Надеюсь, что эти мои заметки не просто напоминают нам об индивидуальном или общем прошлом, но и показывают современные темы, которые из этих занятий прорастают. Одновременно, мне кажется, я отвечаю тем, кто упрекал меня в том, что я и те, кто вокруг, ввели в Россию «чуму» постмодернизма (как некогда Фрейд ввез в США «чуму» психоанализа) – пагубный, смертельный для души, для культуры, для гуманизма постмодерн. Наверное, не стоит смешивать разные явления в одну кучу: одно дело – явления современного мира, которые ранят нас, другое – явления мысли, этот мир отображающей, и эта мысль рождается не для того, чтобы утешать нас прекраснотушными иллюзиями, и не для того, чтобы отвлекать нас скольжениями смыслов. Те концептуальные построения, о которых здесь говорилось, свидетельствуют не об уходе от реальности, но о парадоксальных попытках понять ее, по-своему оперируя этим изломанным языком. Даже иронизируя, эта мысль не прячет голову в песок: она поворачивается лицом к реальности и помогает нам приближаться к ней, чего бы это ни стоило.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Maîtres-penseurs* – «властители-мыслители» или «учители-мыслители» – так нередко назывались во Франции основные персонажи интеллектуальной сцены 1960 – 1970-х гг., такие как Леви-Строс, Лакан, Фуко, Деррида, иногда также Делёз, Лиотар и Бурдьё. Автором этого совокупного именованья был представитель «новой философии» Андре Глюксман, который в конце 1970-х иронически оспаривал все сделанное в 1960-х. В более широком смысле слова «властители дум» – это философы, оказавшие наибольшее влияние на философию и интеллектуальную историю Франции и всего мира.



<sup>2</sup> Как мне уже доводилось писать, двери в аспирантуру филологического факультета МГУ оказались для меня закрыты, потому что преподаватели кафедры английской филологии обиделись на меня за мою совместную с М.Л. Гаспаровым статью «Сонеты Шекспира – переводы Маршака» (Вопросы литературы. 1969. № 2), в которой Маршак в своих переводах представал как автор русской поэзии романтического стиля, далекой от ее барочного прототипа. Местом, где я продолжила свои научные занятия, стала аспирантура Института философии РАН (АН СССР) – под руководством В.А. Лекторского.

<sup>3</sup> Мне довелось видеть Альтюссера только один раз в жизни – в президиуме гегелевского конгресса в Москве в 1974 г. Некоторые фрагменты его книг крайне ограниченным тиражом были изданы в реферативных сборниках, подготовленных отделом научной информации, а в полном объеме отдельные работы Альтюссера появились в России лишь в XXI в.

<sup>4</sup> Другая известная мне головокружительная история – публикация русского перевода книги Л. Шертока и Р. де Соссюра «Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда» (М., 1991), который десять лет пролежал в издательском портфеле «Прогресса» – из-за слова «психоаналитик» в заглавии; и это, заметьте, – уже после Тбилисского симпозиума, посвященного проблемам бессознательного.

<sup>5</sup> О Лакане (Вопросы философии. 1973. № 11), как и о Фуко (Вопросы философии. 1972. № 10) я написала когда-то первую в России статью: обе они набирались петитом сообразно форматам раздела «Философия за рубежом», но все же вышли как раз вовремя, потому что в 1974 г. произошел разгон редколлегии журнала, после чего редактор обеих моих статей Ю.П. Сенокосов и М.К. Мамардашвили, который поддерживал мои публикации, отправились в почетное изгнание в Прагу, в журнал «Проблемы мира и социализма» (впрочем, для М.К. Мамардашвили это было не впервые).

<sup>6</sup> См.: Кант И. Критика чистого разума. Часть вторая. Трансцендентальная диалектика. Книга вторая. Глава первая. О паралогизмах чистого разума.

<sup>7</sup> Lacan J. Écrits. – Paris, 1966. P. 861.

<sup>8</sup> См.: Lacan avec les philosophes. – Paris: Albin Michel, 1991.